

Ночная смена

Автор:

Александр Куприн

Ночная смена

Александр Иванович Куприн

«В казарме восьмой роты давно окончили вечернюю переключку и пропели молитву. Уже одиннадцатый час в начале, но люди не спешат раздеваться. Завтра воскресенье, а в воскресенье все, кроме должностных, встают часом позже...»

Александр Иванович Куприн

Ночная смена

В казарме восьмой роты давно окончили вечернюю переключку и пропели молитву. Уже одиннадцатый час в начале, но люди не спешат раздеваться. Завтра воскресенье, а в воскресенье все, кроме должностных, встают часом позже.

Дневальный – Лука Меркулов – только что «заступил на смену». До двух часов пополуночи он должен не спать, ходить по казарме в шинели, в шапке и со штыком на боку и следить за порядком: за тем, чтобы не было покраж, чтобы люди не выбегали на двор раздетыми, чтобы в помещение не проникали посторонние лица. В случае посещения начальства он обязан рапортовать о благополучии и о всем происшедшем.

Меркулов дневалит не в очередь, а в наказание – за то, что в прошедший понедельник, во время подготовительных к стрельбе упражнений, его скатанная

шинель была обвязана не ременным трынчиком, который у него украли, а веревочкой. Дневалит он через день вот уже третий раз, и все ему достаются самые тяжелые ночные часы.

Меркулов плохой фронтовик. Нельзя сказать, чтобы он был ленив и нестарателен. Просто ему не дается сложное искусство чисто делать ружейные приемы, вытягивать при маршировке вниз носок ноги, «подаваясь всем корпусом вперед», и в должной степени «затаивать дыхание в момент спуска ударника» при стрельбе. Тем не менее он известен за солдата серьезного и обстоятельного: в одежде наблюдает опрятность; сквернословит сравнительно мало; водку пьет только казенную, какую дают по большим праздникам, а в свободное время медленно и добросовестно тачает сапоги, – не более пары в месяц, но зато какие сапоги! – огромные, тяжеловесные, не знающие износа меркуловские сапоги.

Лицо у него шершавое, серое, в один тон с шинелью, с оттенком той грязной бледности, которую придает простым лицам воздух казарм, тюрем и госпиталей. Странное и какое-то неуместное впечатление производят на меркуловском лице выпуклые глаза удивительно нежного и чистого цвета добрые, детские и до того ясные, что они кажутся сияющими. Губы у Меркулова простодушные, толстые, особенно верхняя, над которой точно прилизан редкий бурый пушок.

В казарме гомон. Четыре длинных, сквозных комнаты еле освещены коптящим красноватым светом четырех жестяных ночников, висящих в каждом взводе у стены ручкой на гвоздике. Посередине комнат тянутся в два ряда сплошные нары, покрытые сверху сенниками. Стены выбелены известкой, а снизу выкрашены коричневой масляной краской. Вдоль стен стоят в длинных деревянных стойках красивыми, стройными рядами ружья; над ними висят в рамках олеографии и гравюры, изображающие в грубом, наглядном виде всю солдатскую науку.

Меркулов медленно ходит из взвода в взвод. Ему скучно, хочется спать, и он чувствует зависть ко всем этим людям, которые копошатся, галдят и хохочут в тяжелой мгле казармы. У всех у них впереди так много часов сна, что они не боятся отнять у него несколько минут. Но всего томительнее, всего неприятнее – сознание, что через полчаса вся рота замолкнет, уснет, и только Меркулов остается бодрствовать – тоскующий и забытый, одинокий среди ста человек, перенесенных какою-то нездешней, таинственной силой в неведомый мир.

Во втором взводе тесно сбились в кучу около десяти или двенадцати солдатиков. Они так близко расселись и разлеглись друг возле друга на нарах, что сразу не разберешь, к каким головам и спинам принадлежат какие руки и ноги. В двух-трех местах то и дело вспыхивают красные огоньки «цигарок». В самой середине сидит, поджав под себя ноги, старый солдат Замошников, – «дядька Замошников», как его называет вся рота. Замошников маленький, худой, подвижной солдатик, общий любимец, запевала и добровольный увеселитель. Мерно покачиваясь взад и вперед и потирая колени ладонями, он рассказывает сказку, держась все время пониженного, медленного и как будто бы недоумевающего тона. Его слушают в сосредоточенном молчании. Изредка один из присутствующих, захваченный интересом рассказа, вдруг вставит, не вытерпев, торопливое, восхищенно-ругательное восклицание.

Меркулов останавливается подле кучки и равнодушно прислушивается.

– И посылает этта ему турецкий салтан большущую бочку мака и пишет ему письмо: «Ваше приасхадительство, славный и храбрый генерал Скобелев! Даю я тебе три дня и три ночи строку, чтобы ты пересчитал весь этот мак до единого зерна. И сколько, значит, ты зерен насчитаешь, столько у меня в моем войске есть солдатов». Прочитал генерал Скобелев салтаново письмо и вовсе даже от этого не испужался, а только, наоборот, посылает обратно турецкому салтану горсточку стручкового перцу. «У меня, говорит, солдатов куда против твоего меньше, всего-навсего одна малая горстка, а ну-кася, попробуй-ка, – раскуси!..»

– Ловко повернул! – одобряет голос за спиной Замошникова.

Другие слушатели сдержанно смеются.

– Да... На-ка, говорит, раскуси, попробуй! – повторяет Замошников, жалея расстаться с выигрышным местом. – Салтан-то ему, значит, бочку мака, а он ему горсть перцу: «На-кась, говорит, выкуси!» Это Скобелев-то наш, салтану-то турецкому. «У меня, говорит, солдатов всего одна горсточка, а попробуй-ка, поди-ка, раскуси!..»

– Вся, что ли, сказка-то, дядька Замошников? – робко спрашивает какой-то нетерпеливый слушатель.

– А ты... погоди, братец мой, – досадливо замечает ему Замошников. – Ты не подталдыкивай... Сказку сказывать – это, брат, тоже не блох ловить... Да... – Затем, помолчав немного и успокоившись, он продолжает сказку: Да... «Хоть и малая, говорит, горсточка, а поди-ка, раскуси...» Прочитал турецкий салтан скобелевское письмо и опять ему пишет: «Убери ты подобру-поздорову свое храброе войско из моей турецкой земли... А ежели ты своего храброго войска убрать не захочешь, то дам я своим солдатам по чарке водки, солдаты мои от этого рассердятся и выгонят в три дня всю твою армию из Турции». А Скобелев ему сейчас ответ: «Великий и славный турецкий салтан, как это смеешь ты, турецкая твоя морда, мне такие слова писать? Нашел чем тращать: „По чарке водки дам!“ А я вот своим солдатушкам три дня лопать ничего не дам, и они тебя, распротакого-то сына, со всем твоим войском живьем сожрут и назад не вернут, так ты без вести и пропадешь, собачья образина, свиное твое ухо!..» Как услышал эти слова турецкий салтан, сильно он, братцы мои, в ту пору испужался и сейчас подался на замирение. «Ну, говорит, тебя совсем к богу и с войском с твоим. Вот тебе мельонт рублен денег, и отвяжись ты от меня, пожалуйста...»

Замошников молчит с минуту и потом добавляет коротко:

– Вся сказка, ребята.

Слушатели оживляются, и кучка начинает шевелиться. Со всех сторон раздаются одобрительная ругань.

– Важно он яво, братцы!..

– Н-да-а, саданул... нечего сказать...

– На что лучше... Я, грит, своим солдатам три дни есть не дам, так ени тебя, мерзавца, живьем слопают. Как он ему сказал, дядька Замошников? А, дядька Замошников?

Замошников повторяет ту же самую фразу слово в слово.

– Куда ж против наших! – подхватывают хвастливые голоса.

– Ку-у-да-а!.. Против руцких-то!

- Ежели против наших, так это еще, брат, погодить надоть.

- Да еще и как погодить-то... Это такое дело, что надо благословимшись да каши сперва поемши.

Замошников в это время тянется к огоньку сигарки, то вспыхивающему, то погасающему подле него, и говорит небрежно:

- Дай-кась, братец, потянуть разочек. Чтой-то смерть покурить хоцца.

Он несколько раз подряд торопливо и глубоко затягивается, пуская дым из носа двумя прямыми, сильными струями. Лицо его, особенно подбородок и губы, попеременно то озаряются красным блеском, то мгновенно тухнут, пропадают в темноте. Чья-то рука протягивается к его рту за сигаркой, и чей-то голос просит:

- А ну-ка, дядька Замошников, оставь, я покурю немножко.

- Кто покурить, а кто и поплюить, - отрезает Замошников.

Солдаты смеются: «Уж этот Замошников... всегда такое ввернет!..» Поощренный Замошников продолжает шутить:

- Знаешь, брат, как нонче курят? Табачок ваш, бумажку дашь, вот и покурим.

Однако он тут же сует в протянутую руку окурочек, сплевывает на сторону, перегнувшись через чью-то спину, и говорит:

- А вот тоже, ребята, знаю я еще одну историю. Може, кто слышал из вас? Про то, как солдат прицепил себе железные когти и лазил к царевне на башню? Если знаете, так я лучше и сказывать не буду.

- Не знаем... Нет, нет... Валяй, дядька Замошников. Никто не слышал.

- Начинается это так, что жил-был на свете солдат Яшка Медная Пряжка. И был, братцы мои, этот солдат удивительный человек на свете...

Меркулов вяло отходит прочь. В другое время он сам с живым удовольствием слушал бы сказки Замошникова, но теперь ему даже кажется странным, как это другие могут слушать с таким интересом вещи незанимательные, скучные и, главное, заведомо вымышленные.

«Ишь, черти, и ко сну их не манит, – злобно думает Меркулов. – Будут себе целую ночь дрыхнуть...»

Он подходит к окну. Стекла изнутри запотели, и по ним то и дело быстро и извилисто сбегает капли. Меркулов протирает рукавом шинели стекло, прижимается к нему лбом и загораживает глаза с обеих сторон ладонями, чтобы не мешало отражение ночника. На дворе осенняя, дождливая, черная ночь. Свет, падающий из окна, лежит на земле косым, вытянутым четырехугольником, и видно, как в этой светлой полосе морщится и рябится от дождя большая лужа. Далеко впереди и внизу, точно на краю света, чуть-чуть блестят огни местечка. Больше ничего не различает глаз в темноте ненастной ночи.

Постояв немного у окна, Меркулов идет дальше, в четвертый взвод, обходит его и медленно бредет по другой стороне казармы, вдоль окон. На самом конце нар, по бокам угла, уселись, спустив ноги, двое солдат Панчук и Коваль. Между ними стоит маленький деревянный сундучок с замком на кольцах. На сундуке лежит цельный хлеб, накроенный толстыми ломтями во всю длину, пяток луковиц, кусок свиного сала и крупная серая соль в чистой тряпке. Панчук и Коваль связаны между собою странной, молчаливой дружбой, основанной на необычайном обжорстве. Им не хватает казенного хлеба по три фунта на человека; они прикупают его каждый день у товарищей и всегда поедают его вместе, обыкновенно вечером, не обмениваясь при этом ни единым словом. Оба они из зажиточных семейств и ежемесячно получают из дому по рублю и даже по два...

Каждый из них поочередно узким ножиком, источенным до того, что его острие даже вогнулось внутрь, отрезает несколько тонких, как папиросная бумага, кусочков сала и аккуратно распластывает их между двумя ломтями хлеба, круто посоленными с обеих Сторон. Потом они начинают молча и медленно поедать эти огромные бутерброды, лениво болтая спущенными вниз ногами.

Меркулов останавливается против них и тупо смотрит, как они едят. Вид сала вызывает у него под языком острую слюну, но просить он не решается: все равно ему ответят отказом и хлесткой насмешкой. Однако он все-таки произносит

срывающимся голосом, в котором слышится почти просьба:

– Хлеб да соль, ребята.

– Ем, да свой, а ты рядом постой, – отвечает совершенно серьезно Коваль и, не глядя на Меркулова, обчищает ножом от коричневой шелухи луковицу, режет ее на четыре части, обмакивает одну четверть в соль и жует ее с сочным хрустением. Панчук ничего не говорит, но смотрит прямо в лицо Меркулову тупыми, сонными, неподвижными глазами. Он громко чавкает, и на его массивных скулах, под обтягивающей их кожей, напрягаются и ходят связки челюстных мускулов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/aleksandr-kuprin/nochnaya-smena>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)